

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Г60

Серия «Эксклюзивная классика»

William Golding
FREE FALL

Перевод с английского *И. Судакевича*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Печатается с разрешения издательства Faber and Faber Limited
и литературного агентства Andrew Nurnberg.

Голдинг, Уильям.

Г60 Свободное падение : [роман] / Уильям Голдинг ;
[пер. с англ. И. Судакевича]. — Москва : Издатель-
ство АСТ, 2018. — 320 с. — (Эксклюзивная клас-
сика).

ISBN 978-5-17-111090-1

«Свободное падение» — один из лучших романов Голдинга и одно из самых необычных произведений в его блистательной творческой биографии, поскольку в нем он резко отступает от своей главной темы — темы бессмысленности попыток словесного общения, ведь «мысль изреченная есть ложь», а слово беспомощно уже по сути своей.

В этом романе — своеобразной исповеди художника Маунтджоя, которому на собственном горьком опыте довелось узнать в аду нацистского концлагеря всю силу и слабость человеческой натуры, — Голдинг обращается к любимой экзистенциалистами проблеме внутренней свободы и свободного выбора человека. Снова и снова перебирая, будто бусинки четок, события своей жизни, спрашивает себя то ли Маунтджой, то ли сам автор его устами: как, в какой момент начинается оно — падение человеческой души? И способен ли человек, свободным выбором которого стало именно падение, столь же свободно его и остановить?..

**УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44**

© William Golding, 1959, 1987
© Школа перевода В. Баканова, 2018
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2018

ISBN 978-5-17-111090-1

1

Я ходил по книжным развалам, где некогда пурпурные, а ныне выцветшие тома с загнутыми уголками страниц вспыхивали белой осанной. Я видел людей, увенчанных двойной короной, с посохом и бичом в руках — символами славы и власти. Я понял, как звездой становится шрам, я на себе ощутил упавшую искорку, чудотворную и исполненную Святого Духа. И со мной шагало мое прошлое: в ногу, заглядывая мне за плечо серыми ликами. Я живу на Парадайс-Хилл, «отрадном холме», в десяти минутах от станции, в тридцати секундах от лавок и местного паба. И все же я — распаленный дилетант, истерзанный иррациональным и бессвязным, пребывающий в неистовом поиске и уже вынесший приговор самому себе.

Когда я потерял мою свободу? Ведь некогда я был свободен. Обладал правом выбора. Причинно-следственная механика есть статистическая вероятность, и все же мы порой действуем ниже или за гранью этого порога. Свободную

волю нельзя обсуждать, ее можно лишь познать на личном опыте, подобно цвету или вкусу картошки. Помнится мне один такой случай. Я, совсем еще малышом, сидел на каменном бордюре пруда с фонтаном в центре парка. Ярко сияло солнце, склоны пестрели красными и синими цветами, зеленела лужайка. Невинность и безгрешность, лишь плеск и брызги фонтана в центре. Я выкупался, утолил жажду и теперь сидел на прогретом каменном краешке, безмятежно размышляя над следующим своим занятием. От меня по всему парку разбегались дорожки из галечника, и в какую-то секунду я оказался всецело захвачен новым знанием. Любая из этих дорожек была мне доступна. И все они манили одинаково. По одной из них я и припустился вскачь, предвкушая радость от вкуса картошки. Я был свободен. Сделал выбор.

Как я утратил мою свободу? Надо вернуться и рассказать всю историю заново. История эта любопытна, но не внешними событиями, а скорее тем, как ее вижу я, единственный повествователь. Ибо время не выложить в ряд, как дорожку из кирпичей. Эта прямая линия от первого младенческого всхлипа до последнего вздоха — мертвая абстракция. У времени два состояния. Одно из них столь же естественно присуще нашему восприятию, как вода для скумбрии. Второе состояние — память, чувство брэнной суетности мира, где один день кажется ближе другого, потому что он более важен; а вон то событие зеркально отражает вот это, а те три происшествия

вообще обособились своей исключительностью и не укладываются в прямую линию. Тот день в парке я ставлю первым в моей повести, и не оттого, что я был малюткой, чуть ли не младенцем, а потому что свобода стала для меня более ценной, коль скоро мне все реже и реже удастся вкусить картофеля.

Все системы я развесил по стене под статью ненужным шляпам. Не годятся ни формой, ни размером. Каждая из них заимствована, сшита по чужим лекалам; одни безынтересны, другие потрясают красотой. Но я прожил достаточно долго и могу требовать фасон, который подошел бы ко всему, что мне известно. И где мне его взять? Тогда зачем я все это пишу? Может, это и есть тот «фасон», который я ищу. Вон в середине висит марксистская шляпа; хоть когда-нибудь я думал, что она прослужит мне до конца жизни? А чем плоха христианская скуфейка, которую я почти не надевал? Рационалистическая шляпа Ника прикрывала от дождя, казалась несокрушимой панцирной броней, тусклой и благопристойной на вид. Сейчас она выглядит мелкой и довольно глупой; котелок как котелок, очень формальный, очень законченный, очень невежественный. Имеется и школьная кепка. Я просто повесил ее на гвоздик, понятия не имея о тех шляпах, которые доведется вешать с ней по соседству, когда приключилась та вещь — я имею в виду самостоятельно принятое решение, — за которую пришлось заплатить свободой.

Да сдались мне эти шляпы... Ведь я — художник. Могу надеть любую, какая приглянется. Вы, должно быть, слышали обо мне: Сэмюэль Маунтджой, висит в «Тейте»*. Мне простителен любой колпак. Даже людоедский. Хочется, однако, носить шляпу не на потребу публике. Хочется понять. Серые физиономии заглядывают мне через плечо. Ничем не отвадишь, не изгонишь этих бесов. Одного лишь моего искусства не достаточно. К черту искусство. Ярость — как, впрочем, и половое влечение — вытаскивает меня из глубокого колодца, а людям мои картины нравятся больше, чем мне самому; в отличие от меня они считают их значительными. В глубине души я — скучная псина. Предпочитаю быть скорее добропорядочным, нежели умным.

Так зачем я взялся это излагать? Отчего не брожу кругами по лужайке, перетряхивая воспоминания, пока они не обретут смысл, распутав и заново сплетя гибкие пряди времени? Я мог бы соединить одно событие с другим, а мог бы и вовсе через них перемахнуть. Надо бы отыскать систему для нынешних моих кругов на траве, а завтра ее поменять. Но вот размышлять кругами на этой лужайке уже не достаточно. Начнем с того, что она напоминает прямоугольник холста, область ограниченную, с какой бы изобретательностью ты ни накладывал мазки. Есть пре-

* Лондонская галерея Тейт, крупнейшее в мире собрание английского искусства XVI—XX вв. Названа по имени основателя — промышленника Генри Тейта. — *Здесь и далее примеч. пер.*

дел вместимости для человеческого ума, однако осмысление требует размаха, который способен охватить все запомненное время, после чего надобно сделать паузу. Пожалуй, если я стану излагать эту повесть так, какой она видится мне, удастся возвращаться назад и выбирать. Жизнь ни с чем не сравнить, ибо она вмещает все, к тому же слишком тонка и пышна для осмысления без подмоги. Живопись же подобна конкретной позе, отобранной из числа многих прочих.

Есть еще одна причина. Все мы немые и слепые, хотя должны бы видеть и говорить. Я не про заросшую щетиной физиономию Сэмми Маунтджоя, чьи припухлые губы размыкаются, дабы рука смогла извлечь чинарик; я говорю не про гладкие влажные мускулы позади затупившихся зубов и не про пищевод, легкие, сердце — все то, что можно увидеть и потрогать, если поработать над ним скальпелем в анатомичке. Я имею в виду безымянный, бездонный и невидимый мрак, который сидит в самой его сердцевине, вечно бодрствующий, вечно не совпадающий с тем, за что его принимают, вечно размышляющий о непостижимом и чувствующий неизъяснимое, — мрак, который безнадежно надеется понять и быть понятым. Наша неприкаянность ничего общего не имеет с одиночеством изгоя или тюремной камеры; это одиночество темной твари, что видит посредством отражения, словно речь идет о наблюдении за атомным реактором, осязает посредством дистанционного управления и слышит лишь те слова, которые передают ей на ино-

странном языке. Общение — вот наша страсть и источник безысходности.

Ну и с кем общаться?

С тобой?

Мой мрак выпускает клещи-манипуляторы и неуклюже тычет ими в пишущую машинку. Твой мрак выпускает твои собственные клещи и хватает книжку. Между нами насчитывается два десятка режимов обмена, фильтрации и трансляции. Сколь экстравагантным было бы совпадение, если бы точное качество, полупрозрачная сладость ее щеки, живой изгиб кости между бровью и челкой сумели бы выдержать передачу! Как можешь ты разделить со мной весь тот ужас, что я испытывал в темнице, когда я способен его лишь вспомнить, но не воссоздать даже для самого себя? Нет. Это не для тебя. А может, как раз и для тебя, но только отчасти. Раз уж ты там не был.

И вообще, кто ты такой? Один из узкого круга посвященных, с гранками на руках? Я что, твое служебное задание? А я тебя не раздражаю, превращая одну бессвязную галиматью в другую? Может статься, ты наткнулся на эту книжку у какого-то букиниста, лет эдак через полсотни, и ты живешь в другом «сегодня». Свет исчезнувшей звезды сияет нам миллионы лет — по крайней мере, так говорят и, наверное, не врут. Какая именно вселенная подойдет для того, чтобы наша темная сердцевина сохранила в ней свое равновесие?

Однако ж надежда есть. Я мог бы передать хотя бы кусочек, и это, понятное дело, куда

лучше полнейшей слепоты и бессловесности; а еще я могу подыскать себе нечто вроде шляпы. Наша ошибка в том, что мы путаем собственную ограниченность с пределами возможного и запикиваем целую вселенную в ту или иную рациональную шляпу. Но я, пожалуй, смогу отыскать намеки на рисунок, который вместит меня, пусть даже его края и терялись бы в неведении. Что же касается общения, то, как говорится, все понять — значит все простить. Хотя кто, кроме обиженного, способен простить обиду? И к тому же каким образом, если этот телефонный коммутатор не работает?

Вина за кое-какие картинки лежит не на мне. Я вполне способен вспомнить себя ребенком. Но даже соверши я убийство в ту пору, ответственным за него я бы себя уже не считал. Здесь тоже есть некий порог, за которым наши поступки становятся деяниями других. И все же я там был. Чтобы понять, надо, наверное, включить и картинки тех, ранних дней. Может статься, заново перечитав свою повесть с начала и до конца, я увижу связь между маленьким мальчиком, чистым как родниковая вода, и тем мужчиной, который похож на застойный пруд. Каким-то образом из одного получилось другое.

Отца своего я не знал, да и матушка, как мне думается, тоже его никогда не знала. Не могу, конечно, быть полностью уверен, но все ж я склонен полагать, что она его не знала — во всяком случае, в социальном отношении, если только

мы не вычленим это слово из всех полезных смыслов. Половина моей родословной до того туманна и непроницаема, что я редко утруждаюсь беспокоиться на этот счет. Я существую. Вот эти пожелтевшие от табака пальцы, что нерешительно зависли над пишущей машинкой, эта тяжесть в кресле удостоверяют мне встречу двух людей, одним из которых была моя мать. Интересно, что думал обо мне второй из них? И что за даты я отмечаю? В 1917-м были победы и поражения, была революция. На фоне таких событий одним мелким ублюдком больше или меньше... А тот-то, другой, был ли он солдатом, которого потом разметало на куски? Или, может, он выжил и ходит, развивается, забывает? А что, он вполне мог бы гордиться мною и моей цветущей репутацией — если б знал. Не исключено, что я с ним даже пересекался, лицом к непроницаемому лицу. Но без узнавания. Я буду знать о нем столь же мало, сколько знает ветер, переворачивающий страницы книги на садовой ограде, невежественный ветер, способный расшифровать цепочки черных заклепок с таким же успехом, с которым мы, люди, умеем читать лица совершеннейших незнакомцев.

И все ж меня завели. Я тикаю. Существую. Я замер в восемнадцати дюймах над черными заклепками, которые ты читаешь; я занимаю твое место, я заперт в костяной коробке и пытаюсь приклепать самого себя к белой бумаге. Нас соединяют эти заклепки, но, невзирая на всю страстность, мы не разделяем между собой ни-

чего, кроме чувства разобщенности. Так зачем мне думать об отце? Чем он важен?

Зато мать — совсем другое дело. Был у нее какой-то секрет, ведомый, пожалуй, лишь коровам или кошке на ковре, некое качество, делавшее ее независимой от чужих суждений. Она довольствовалась простым контактом. В этом была ее жизнь. Мои успехи ее ничуть не впечатляли. Полное безразличие. В моем альбоме картинок она закончена и окончательна, как точка в конце фразы.

В досужую минуту, когда на меня вдруг накатывало, я расспрашивал ее об отце, хотя в этом любопытстве не было крайней нужды. Пожалуй, если бы я настоял, она была бы поточнее в своих рассказах, но зачем мне это надо? Жизненного пространства вокруг ее передника вполне хватало. Были мальчишки, знавшие своих отцов, так же как и мальчишки, носившие башмаки изо дня в день. Были сверкающие игрушки, машины, места, где люди ели изящно, да только эти картинки на моей стене столь же от меня далеки, как и Марс. Настоящий отец стал бы немыслимой прибавкой. Так что свои расспросы я приберегал к раннему вечеру, пока не открылось наше «Светило», или же к ночи, когда матушка была уже в приятном подпитии. С таким же равнодушием я мог бы попросить ее рассказать сказку, да и верил в нее не больше.

— Мам, а кем был мой отец?

Из-за нашего обоюдного безразличия к тривиальному физическому факту ответы разнились

в зависимости от того, что ей грезилось в данную минуту. На них влияло «Светило» и мерцающие истории в «Ригле». Я-то понимал, что все это чистой воды мечты, а потому принимал их, коль скоро сам предавался фантазиям. Заклеймить их словом «вранье» можно лишь при ледяном отношении к правде, хотя пару раз остатки порядочности все же заставили мать отречься от своих заявлений чуть ли не в следующий миг. В результате отец порой был военным, обаятельным человеком, офицером — хотя, подозреваю я, к моему зачатию она уже не была парой офицеру и джентльмену. Как-то вечером, по возвращении из «Ригла», где крутили кинохронику авианалета на группу линкоров у берегов Америки, она заявила, что отец служил в Королевских ВВС. А еще позднее... что за дата тогда отмечалась? С гарцующими скакунами, плюмажами на кирасах и ревущими толпами? Словом, в тот день он превратился аж в принца Уэльского.

Я до того обалдел от этой новости — хотя, разумеется, ничуть не в нее не поверил, — что у меня на сетчатке надолго остался след от красного сияния за каминной решеткой. Да мы оба в это не поверили, однако сверкающий вымысел валялся посреди грязного пола и был благодарно принят, раз уж сам я не был способен на столь грандиозное изобретение. Правда, едва выпалив слова, мать чуть не взяла их обратно: уж чересчур колоссальной получилась выдумка, а может, мечта была слишком сокровенной, чтобы делить ее с другими. Она отвела глаза, на вспыхнувшем

лице зарделась серая пергаментная кожа. Мать шмыгнула носом, почесала между бровей, уронила пару слезинок, охотно набежавших после джин-тоники, и сказала, обращаясь к камельку, где не помешало бы развести огонь пожарче:

— Ты же знаешь, я записная врунья...

Ага. Знать-то я знал и даже не корил за это, но все равно огорчился. Такое чувство, что Рождество минуло и не осталось праздничной мишуры. Стало ясно, что нам следует вернуться к привычному, хоть и вымышленному маминому кавалеру. Принц Уэльский, офицер, летчик... между прочим, шлюхи любят выдавать себя за пасторских дочерей, так что, несмотря на весь куртуазный лоск, церковь вышла победительницей.

— Так кем был мой отец, мам?

— Сколько раз повторяла: священником.

В целом я тоже придерживался этой версии. Между нами не было ничего, кроме разобщенности, но ее все равно следует признать, так что за чужим лицом я видел тоску, дьявола, отчаяние, перекошенные и безысходные образы, которые ежечасно подлаживались под новое убеждение, пока не превращались в таких же уродцев, как и спеленатые ступни китаянок. В горькие минуты я мнил себя опосредованно причастным к добрым делам. Мне нравилось думать, что за отцом не числится проступков, совершенных под каким-то предлогом или по нравственному равнодушию. Из чувства собственного достоинства я бы предпочел, чтобы он отчаянно сражался с плотскими позовами. Военные ис-

покон веков любят и затем бросают женщин, а вот богослужители — и просто воздерживающиеся, и давшие обет безбрачия — все эти пресвитеры, духовники, церковные старосты и приходские священники... Должно быть, я — застарелая боль, некогда вроде бы прощенная, а ныне вспыхнувшая пурпуром. Вот взорвусь где-нибудь в пастырском домике, а то и на хозяйственном дворе, лопну как забытый гнойник. Эти люди, как и я, не чужды греху. Да, в этом что-то есть.

Итак, священник. Интересно, какой церкви? Пару дней назад я шел по переулку, мимо всяких там часовен, мимо молельни, свернул за угол возле старого храма и внушительного дома слуги божьего. К какой же конфессии приписать мой вымысел? К государственной, англиканской? А не был ли мой отец сначала джентльменом и лишь впоследствии принял сан? Так сказать, дилетант-любитель вроде меня. Даже монахи ходят в ладно скроенных рясах, из-под которых выглядывают штаны. Смахивают на друидов с Браун-Уилли*, или как там называется это место, куда они прикатывают в машинах и темных очках. А может, сделать отца католиком? Вот уж действительно, профессиональная церковь, хотя бы ты и ненавидел ее по самые печенки. Если сын-ублюдок коснется рукава одного из них, то затронет ли при этом сердце? Ну а если взять нонконформистов с их безотрадной ортодоксальностью, всех этих новоиспеченных схизма-

* Холм в графстве Корнуолл.

тиков со скрижалями, переносными алтарями, скиниями и капищами — тут мы с матерью заодно: никакого интереса. Да с таким же успехом отец мог быть масоном. Или «сохатым»*.

— Мам, кем был мой отец?

Я лгу. Обманываю и себя и вас. Их мир — мой мир, мир греха и искупления, показушности и твердой веры, мир любви в грязной луже. Вы изо дня в день торгуете самой кровью моей жизни. Я один из вас, затравленный человек... Затравленный чем или кем? Вот он, мой глас вопиющий: ходил я среди вас в коконе интеллектуальной свободы, а вы никогда и не пытались прельстить меня сбросить его, ибо век нынешний сам вас совратил, и вы поверили в игру по правилам, в непротиворечие, в то, что не каждому дано быть святым. Вы уступили свободу тем, кто ею и воспользоваться-то не может, дали самоцвету заплыть коростой из грязи и пыли. Я изясняюсь на вашем же герметическом наречии, на коем не говорят другие люди. Я ваш брат в обоих смыслах, и коль скоро свобода — мое проклятие, я швыряю в вас мерзостью, расковыриваю болячку, которая никак не прорвется и никого не убьет.

— Мам, кем был мой отец?

Пусть он так и не узнает. Мне и самому ведомо теплое содрогание, а в сравнении с медленным ростом, что идет следом, я не так уж

* То есть членом «Благотворительного и покровительствующего ордена лосей».